

Чехов в Мелихове

Я познакомилась с Антоном Павловичем Чеховым в одну из светлых полос его жизни — приблизительно через год после того, как он купил на трудовые гроши маленькую усадьбу Мелихово. Для него, как и для всей его семьи, это было настоящей радостью. После тяжелого детства, лишений и скудости, бедности за рублевыми гонорами, скитаний по меблированным комнатам и дешевым квартиренкам он вдруг ощутил, что у него есть свой угол — свой дом, которого не надо менять, откуда не надо торопиться. Он очень полюбил Мелихово, которое купил за глаза, и за один год успел превратить его из запущенной, неказистой усадьбы в цветущий уголок. Он писал о Мелихове: «Тут все в миниатюре — маленькая липовая аллея, пруд величистой с аквариум, маленькие сад и парк, маленькие деревья — но пройдем раз другой, взглядишься — и впечатление маленького исчезает: очень просторно».

Мне невольно приходит в голову аналогия с его маленькими рассказами: страница-две, а прочтешь раз-другой, вдумываешься — и впечатление маленького исчезает: какой простор мыслям, настроению, какая широкая картина русской жизни...

В Мелихово пригласила меня сестра Чехова Мария Павловна; я поехала — и с тех пор стала бывать там, когда только удавалось вырваться из Москвы. Эти поездки были для меня праздником. Я была настоящей дочерью города, жила без семьи, без природы, которых мне всегда не хватало. Может быть, оттого меня так и тянуло в Мелихово, что там я находила и то и другое. Места там нельзя было назвать красивыми, но большая, чисто русская прелесть была в них; как писал Чехов — «глушь, тишина, соловьи, лоси».

Я вспомнила эти слова несколько лет тому назад, когда мне пришлось ехать по когда-то знакомым местам. Я не узнавала их: асфальтированное шоссе, обгоняющие автомобили, каменные дома. Исчезли и тишина и лоси. Но тогда это был глухой уголок, и после городского

шума и суеты казалось, что попал в другой мир. Лишь только выйдешь из душного вагона, вдохнешь душистый воздух полей и леса — точно тяжесть опала с плеч. И когда после ужина мы сидели на любимой завалянке Антоны Павловича у ворот усадьбы и смотрели на полосы несжатой ржи, алевшие под закатными лучами, на синюю стену леса на горизонте, то охватывало какое-то чувство «мира и благоволения», которыми был полон и весь чеховский дом.

Дом был уютный, без всякого «стиля», но приятный и просторный. Кабинет с «венецианскими» окнами, камин, книжными полками и большим диваном, давший художнику идею кабинета в «Чайке». Зимой эти окна до половины заносило снегом, и иногда зайцы заглядывали в них, становясь на задние лапки, а весной в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам Антон Павлович.

В доме было комнат 9—10, и когда Антон Павлович в первый раз показывал мне его, то меня водили кругом раза три и каждый раз называли комнаты по-иному: то это была «проходная», то «для гостей», то «Пушкинская» (по большому портрету Пушкина, висевшему в ней), или «угловая», она же «диванная», она же «кабинет»... и т. д. Антон Павлович объяснил, что так делают в провинциальных театрах: когда не хватает толпы или воинов, проводят одних и тех же статистов через сцену по нескольку раз — то шагом, то бегом, то поодиночке, то группами, чтобы создать впечатление многочисленности.

Как уже сказано, я попала в Мелихово через год после его покупки, а впечатление было такое, будто Чеховы там жили спокон веку и что Павел Егорович, отец Чехова, так и состарился в своей «келейке», с иконами, запахом лекарственных трав и огромными книгами, в которых он записывал все события дня — немногословно, в одной строке:

14. М. женился.

15. Превосходно удалась Марьюшке налистники

16. Девчонки принесли ландышей из лесу.

17. Пастуха молнией убило.

18. Приехали гости, нехватало тюфяков.

19. Антон сердит.

20. Пиона расцвелась.

Эпически спокойно, — радости, горести — все в одной строке. Из этой книги можно было понять, откуда у Антоны Павловича дар так кратко и смато дать в одной фразе всю картину, — в «горлышке бутылки, блестящем на плоту», дать всю лунную ночь...

В доме Чеховых меня поражаало одно: откуда у этой семьи, начавшей жизнь в провинции, в мешанской обстановке и бедности, явился такой огромный вкус и, главное, такое благородство и изящество? Ни одной вещи не было в доме, которая резала бы глаз, ничего показного, никакой мишуры: какое-то внутреннее достоинство чувствовалось как в самих Чеховых, так и в их обстановке. Я видела много «литераторских» квартир и в Москве и в Петербурге: обычно они были двух родов — или с пополюзовениями на роскошь, с картинами, шелковой мебелью и купленными в магазинах «старинными» вещами; или же скудно убранные, с остатками селетки на столе, с продранными локтями на хозяйском капоте... Здесь была чистота, порядок и ничего лишнего. Хорошие книги, картины Левитана, с которым были дружны Чеховы, и Н. П. Чехова, рано умершего художника, пианино, цветы. Комната Евгения Яковлевны, матери Чехова, такая же простая и ласковая, как и ее хозяйка.

Антон Павлович много возился со своим садом, все свободное от работы и дел время он отдавал ему. Целые дни что-то жалал, обмывал, подрезал. Каждый посаженный им куст казался ему богатством, отмечался им, пробуждал в нем действительность. Он говорил мне, что не знает большего удовольствия, чем наблюдать весной, как из земли лезут первые тюльпаны, «как стараются»; даже из-за границы он указывал сестре, что куда посадить, и давал ей чудесные адреса, вроде «против большой ллии, влево от белой розы», посадить тут или другой цветков. Раскаживая со мной по дорожкам сада, он указывал мне каждое дерево в особом освещении: «Вот эти сосны особенно хороши на закате — когда у них ство-

лы красные. А «Мамврийский дуб» (так прозвал он старый, могучий дуб, упавший в саду от прежних времен) надо смотреть в сумерках: стемнеет — пойдем к нему».

Для него не было большей радости, чем, как говорит Сирано де Бержерак, «возделывать свой сад, растить свои цветы».

Это было его отдыхом от работы. А работал он в Мелихове очень много. Там он написал «Соседи», «В родном углу», «Палата № 6», «Бабье царство», «Рассказ неизвестного человека», «Володя большой и Володя маленький», «Три года», «Ариадна», «Дом с мезонином», наконец — «Чайка». Перечень далеко не полон. Писал он, запершись в своем кабинете, а если наезжало много гостей, выходил по большей части в хорошем расположении духа к трапезам, бывшим самыми веселыми часами мелиховского дня. Отдыхал от всей души, отдавал честь разным пирогам и соленьям, на которые была такая мастерица Евгения Яковлевна, сияющая от его похвалы, шутил с нами, требовал отчета, как мы провели день, и немилосердно дразнил меня.

В этом выражалось его хорошее отношение ко мне. Относился он ко мне тепло и по-дружески, звал меня просто «Таня».

Чехов, даже когда хвалил меня, то делал это чаще под видом шутки, например, уверял, что последние мои стихи так хороши, что я несомненно их списала в старом журнале. Но иногда он говорил и серьезно. Например, по поводу моей повести, напечатанной в журнале «Неделя» — «Одиночество», он говорил:

— Все хорошо, дружок, художественно. Но вот, например: у вас сказано «и она готова была благодарить судьбу, бедная девочка, за испытание, посланное ей». А надо, чтобы читатель, прочтя, что она за испытание благодарит судьбу. — сам сказал бы: «бедная девочка»... Или у вас: «трогательно было видеть эту картину». Надо, чтобы читатель сам подумал: «какая трогательная картина».

Особенно советовал он мне отделяться от «готовых слов» и штампов — вроде «сладкие объятия тоски», «причудливые очертания гор» и т. п. Я очень ценила эти отзывы. Мне редко приходилось видеть писателя, который бы с такой добротой относился к своим товарищам и к

начинающим писателям, как Чехов. Он вечно за кого-то хлопотал, кого-то утешал, давал советы. Довольно привести его отношение к молодому Горькому, чтобы показать, как чуждо было Чехову какое бы то ни было чувство профессиональной зависти. Устами своего Тригорина в «Чайке» он говорит: «К чему толкаться? Всем места хватит!». И он не только не «толкался», но, где только мог, проталкивал товарищу руку помощи. Он где-то сказал: «Человек должен быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». И этому правилу и он и его семья следовали неукоснительно.

О себе Антон Павлович говорил мало. Так, разве поделится в двух словах содержанием рассказа, который пишет в это время: «Пишу о докторе, который галлюцинирует... или вынет свою записную книжку и прочтет какую-нибудь поразившую его фамилию, вроде «Розалии Аромат», или подмеченную им черточку, услышанную на пароходе фразу вроде «Жан, твою птичку укачал!».

Скромность Чехова была необыкновенна. Он не терпел, когда ему говорили комплименты, и всегда переводил на что-нибудь другое. Помню, как-то в позднейшие годы я ему сказала (речь шла о его «Трех сестрах» в Художественном театре), что меня поражает в его пьесах то, что от них впечатление будто не в театре сидишь, а подматриваешь чужую жизнь. Он прищурил глаза так, что от них пошли морщинки лучиками, и сказал:

«Это они так играют: они — хитрые».

Я до сих пор не уверена, что Антон Павлович отдавал себе отчет, какую роль он сыграет в русской литературе: никакого самолюбования, никакого честолюбия — которых невозможно скрыть — я в нем не видала никогда.

Его все возрастающая литературная слава заслоняла от его современников его общественную деятельность, однако она была очень велика. Он никогда не говорил высоких фраз «о любви к меньшему брату» и «служении народу», на что были так щедры тогдашние либеральные кружки, но вся его жизнь была именно таким «служением». Я пробую вспомнить все, что он успел сделать на своем ко-

ротом веку: его громадное литературное наследство, ставшее классическим, его деятельность во время голода, во время холеры, построенные при его содействии и горячем участии школы, больницы, шоссе, железные дороги и пр. и пр., я вижу теперь, какое огромное наследство он оставил после себя, и не только своему народу. С крестьянами у него были наилучшие отношения — без всякого наигрыша. Он по доброй воле лечил всю округу, ездил и ходил по первому зову за несколько верст в любую погоду, не заботясь о своем здоровье.

Любопытное совпадение. Приехав из Киева, где я окончила гимназию, в Москву, я поехала навестить свою бывшую кормилицу в деревушку недалеко от станции Лопасня. У нее оказался туберкулез. Я обеспокоилась и стала расспрашивать, лечится ли она, есть ли доктор, есть ли лекарства. «Не бойся, родимая, — ответила она, — у нас тут доктор, такой доктор, что и в Москве лучше не найти — Антон Павлович. Верст за десять отсюда живет. Он меня и лечит и лекарства сам дает».

Познакомившись через несколько месяцев с Чеховыми, я поняла, про кого она говорила.

Многие строки Чехова читаются сейчас как-то по-новому. Среди них немало высказываний, которые кажутся прямо пророческими. Но в одном Чехов ошибся. Он говорил: «Меня после моей смерти будут читать самое большее семь лет, а потом — забудут».

Прошло не семь, а сорок лет со дня его смерти: его читают, его пьесы идут повсюду. Не только у нас, но и в Западной Европе и в Америке его влияние сыграло громадную роль в литературе. А новая Россия с еще большей жалостью вдумывается в него, чем тогдашняя. Имя его мы теперь ставим наряду с самыми большими именами русской литературы. И когда я вижу, как страстно молодежь слушает то, что я ей иногда рассказываю о Чехове, я счастлива, что могу и свою крупицу внести в историю его жизни.

Русский человек, русский писатель и по-настоящему русский. Оттого и любит его Россия и не забудет никогда.

Т. ШЕПКИНА-КУПЕРНИК,
заслуженный деятель искусств.